
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского.

Издание исправленное. Два тома.

Петербург. 1867

Один «критик»¹ — так обыкновенно пишут в газетах, желающих сохранить вполне приличный литературный тон, откуда следует, что ради благопристойности нам должно признать существование у нас великого множества критиков,— итак, один критик сказал о романе г. Достоевского следующее:

«Уничтожьте только тот оригинальный мотив убийства, в силу которого Раскольников видит в убийстве не гнусное преступление, а «поправление» и «направление» природы, некоторым образом подвиг; мало того: сделайте такой взгляд на убийство только личным, индивидуальным убеждением одного Раскольникова, а не общим убеждением целой студенческой корпорации, всякий интерес в романе г. Достоевского немедленно пропадет. Это ясно показывает, что основу романа г. Достоевского составляет предположенное им или принятое за данный факт — существующее в студенческой корпорации покушение на убийство с грабежом, существующее в качестве принципа».

Затем критик довольно хладнокровно предается некоторой горячности:

«Какою,— говорит он,— разумною целью может быть оправдано изображение молодого юноши, студента, в качестве убийцы, мотивирование этого убийства научными убеждениями и, наконец, распространение этих убеждений на целую студентскую корпорацию».

Эта критика напечатана, и слова, которые мы привели, имеют совершенно ясный смысл. В романе г. Достоевского, сказано, целая студентская корпорация обвиняется в том, что она исповедует как принцип невинность убийства с грабежом, даже в том, что в ней существует уже самое покушение на такое убийство.

Первая мысль, которая может прийти здесь в голову разумному читателю, конечно, будет та, что все это нелепость, на которую не стоит обращать никакого внимания. Разве можно обвинять всех студентов поголовно не только в покушении на убийство, а в чем бы то ни было? Нужно вовсе лишиться здравого смысла, для того чтобы сделать такое нелепое обвинение. И далее — если бы кто и сделал подобное обвинение, то разве оно могло бы иметь хоть малейшее значение. Разве обратил бы на него внимание хоть единый студент? О подобной глупости не стоило бы вовсе и говорить.

Клевета на студентов была бы ужасная, если бы только она была возможна. Клевета на г. Достоевского была бы тоже ужасная, если бы и она была возможна. И выходит — все вздор, не стоящий внимания.

К сожалению, дело так просто не развязывается. Критик, мнение которого мы привели, вероятно, высказал свою искреннюю мысль. Если же он говорил неискренно, то говорил для тех, которые могут искренно питать подобные мысли. Только нет сомнения, что у нас найдется множество людей, которые или поверят критику, или сами доберутся до подобного взгляда на дело. Нет такой нелепости, которая не нашла бы себе защитников вопреки всякой очевидности. У нас же — мы должны это помнить — тьма, глупокая тьма царит над умами; у нас нет для суждений твердых, ясных точек опоры; мы до сих пор не умеем понимать широко и тонко и потому все перетолковываем, все прикидываем на узкие мерки кой-каких понятий, нахватанных нами из хаоса чужих мнений. Можно бы привести немало примеров нелепейших обвинений, которые основывались на недоразумениях или даже на прямой клевете и, однако, имели большой ход в нашей читающей публике.

В суждении же нашего критика для многих и не найдется ничего особенно нелепого. Положим, нам скажут, что кто-нибудь ретроград, враг молодого поколения, враг науки и просвещения; что же. Ведь у нас такие люди есть, хотя бы и в малом количестве; а главное, у нас есть множество людей, которые считаются такими, о которых составилось и незыблемо утвердилось такое противоестественное понятие. Отчего же нельзя причислить к таким людям и нашего романиста. Далее, положим, нам скажут, что

кто-нибудь считает все молодое поколение нигилистами, поджигателями, убийцами, готовыми из-за денег отца родного зарезать; что же. Ведь у нас есть нелепые люди, которые держатся таких или подобных мнений; а главное, у нас есть множество людей, которым такие мнения приписываются, которым ни за что не поверят, если они станут уверять, что думают совершенно иначе. Отчего же нельзя сказать, что таким-то людям и хотел угодить г. Достоевский.

Итак, и в силу некоторой действительности, и, главное, в силу преувеличенных и искаженных понятий о состоянии общественного мнения, обвинение г. Достоевского становится возможным. Есть люди и кружки, для которых оно имеет полную силу.

Если же кто-то нам не поверит на основании вышеприведенных соображений, то мы в настоящем случае можем привести факты, которые тоже взяты будут с печатного. Беда еще небольшая, если человека обвиняют: на всякое чиханье не наздравствуешься. Но беда становится действительною, когда обвинение принимается и не раздается ни одного голоса в защиту. Наконец, всего хуже бывает тогда, когда являются усердные защитники, но по их словам видно, что и они вполне признают виновность обвиненного и стараются только адвокатскими уловками отвести глаза публике. Такая участь довелась г. Достоевскому.

Явился другой «критик»², который стал защищать г. Достоевского против первого критика. Он почел своим долгом, как он выражается, «снять обвинение с писателя честного»; он старается доказать, «что нет никакого повода думать, чтобы автор хотел кого-нибудь оклеветать, хотел навязать молодежи поголовное стремление к убийству с грабежом, как выразился один критик в начале прошлого года»³.

Доказательство очень просто. «Раскольников — больной человек» — вот в чем вся разгадка. «Он — вполне сумасшедший человек, потому что предметы постоянно представляются ему с одной стороны; эту сторону он анализирует здраво, другая совсем у него ускользает; для этой стороны от него нет разума, он умер, задавлен всепоглотившею идеей. Эта идея об убийстве так же повернула ему голову, как повертывает голову всякая другая идея, сводящая человека с ума. Один вообразит себя Фердинандом VII⁴, другой вообразит себе, что весь род человеческий преследует его, весь занят только тем, чтобы стереть его с лица земли. Раскольников вообразил себе, что убийство ради тех целей, которые он признавал благородными, — вовсе не преступление».

Вот, между прочим, маленькое доказательство такого взгляда на дело. «Сумасшествие, — говорит критик, — проходит иногда

вследствие сильных нравственных потрясений, иногда даже вследствие крутой болезни. То же делается с Раскольниковым. Он вынес в каторге сильную болезнь». В романе рассказывается, что после этой болезни выздоравливающий Раскольников вдруг почувствовал сильный порыв любви к Соне. «В нем проснулись, — пишет критик, — давно подавленные инстинкты, он разом понял и Соню, которая следовала за ним на каторгу, и глубоко полюбил ее. Он, одним словом, выздоровел (подразумевается: от сумасшествия). Он воскрес, — говорит автор, — что, очевидно, одно и то же».

Итак, г. Достоевский написал нам историю некоторого сумасшествия. Если так, то, конечно, нельзя думать, что «он хотел опозорить молодое поколение своим Раскольниковым».

«Раскольников, — последовательно выводит критик, — вовсе не тип, не воплощение какого-нибудь направления, какого-нибудь склада мыслей, усвоенных множеством». И далее: «Раскольников, как явление болезненное, подлежит скорее психиатрии, чем литературной критике».

А как же быть с тем учением, которое Раскольников так настоятельно исповедует, так последовательно развивает? Как быть с теми совершенно отчетливыми и связными мыслями, которыми он даже в каторге оправдывает свои убийства? Вот как объясняет дело критик:

«Нельзя объяснить преступления Раскольникова материализмом, потому что этот материализм, это неверие — в нем тоже напуск, скорее следствие *idée fixe*, чем последняя могла быть следствием материализма; с выздоровлением, с любовью и материализм проходит у Раскольникова, и вера начинает прокрадываться в его сердце».

Итак, вот до какой степени неповинен г. Достоевский относительно нашего молодого поколения. Даже материализм и неверие — эти явления, обыкновенно не предполагающие какого-либо расстройтва умственных способностей, — он приписал выведенному им в романе юноше только под условием помешательства.

Как понять подобное, почти невероятное, извращение смысла романа? Не обвинить ли в нем самый роман? Может быть, он так неясен, так дурно выполняет избранную задачу, что легко было ошибиться в его идее? Отчасти, конечно, так; есть в романе значительные недостатки, которые мешают художественной ясности образов, а следовательно, и препятствуют их ясному пониманию. Например, при вполне твердой, вполне отчетливой манере писать лица нельзя было бы так легко причислить Раскольникова к сумасшедшим. Но это составляет только сотую долю в объяснении

всего дела. Раскольников нарисован все-таки так ясно и отчетливо, что не будь других причин, никто не счел бы его расстроенным в уме, кроме людей, очень грубо понимающих вещи. Главная же причина, по которой критик решился на превратное толкование романа, очевидно, заключается в том, что он боялся прямого толкования. Он боялся, что прямой смысл романа составляет обвинение молодого поколения «в поголовном стремлении к убийству с грабежом». Он боялся и за молодое поколение, и за г. Достоевского и, следовательно, верил в возможность обвинений, которые нам показались такими нелепыми.

Факт — замечательный для показания нашего умственного строя, и мы надеемся, что г. критик извинит нас, что мы воспользовались его словами для изображения этого факта.

Спрашивается, чего же он боялся? Насколько в действительности он был прав в своих опасениях? Насколько эти опасения оправдывались истинным смыслом романа? Если вникнуть в дело, то невозможно будет воздержаться от величайшего изумления перед тем, как трудно у нас понимаются самые ясные вещи.

Нигилисты и нигилистки давно уже изображаются в наших романах и повестях. Как же они в них изображаются? Стоит только вспомнить об этих картинах, чтобы без всякого колебания отвечать на этот вопрос. Читатели привыкли видеть в нигилистах, во-первых, людей скудоумных и скудосердечных, людей, лишенных ясной силы ума и живой сердечной теплоты. Люди эти строят собственным умом теории, совершенно оторванные от жизни, доходящие до величайших нелепостей. На основании этих теорий они извращают свою и чужую жизнь и живут в этом извращении, не понимая и не чувствуя всего безобразия такой жизни. Поэтому нигилисты являются нам существами смешными и гадкими, пошлыми и отталкивающими. Словом, они изображаются так, что по самой сущности дела могут возбудить не симпатию, а только насмешку и негодование. Посмотрите для примера, в каком зверообразии выведен некоторый нигилист в повести «Поветрие» («Всемирный труд», № 2)⁵. Да и вообще, каких только гадостей, каких безобразий не было приписываемо нашим нигилистам.

Что же сделал г. Достоевский? Он, очевидно, взял задачу сколь возможно глубже, задачу более трудную, чем осмеивание безобразий натур пустых и малокровных. Его Раскольников хотя страдает юношеским малодушием и эгоизмом, но представляет нам человека с задатками твердого ума и теплого сердца. Это не фразер без крови и нервов, это — настоящий человек. Этот юный человек тоже строит теорию, но теорию, которая, именно в силу его

большей жизненности и большей силы ума, *гораздо глубже и окончательнее противоречит жизни*, чем, например, теория об обиде, наносимой даме целованием ее руки, или другие подобные. В угоду своей теории он также ломает свою жизнь; но он не впадает в смешное безобразие и нелепости; он совершает страшное дело, преступление. Вместо комических явлений перед нами совершается трагическое, то есть явление более человеческое, достойное участия, а не одного смеха и негодования. Затем разрыв с жизнью, в силу самой своей глубины, возбуждает страшную реакцию в душе юноши. Между тем как прочие нигилисты спокойно наслаждаются жизнью, не целуя рук у своих дам и не подавая им салопов, и даже гордясь этим, Раскольников не выносит того отрицания инстинктов человеческой души, которое довело его до преступления, и идет в каторгу. Там, после долгих лет испытаний, он, вероятно, обновится и станет вполне человеком, то есть теплою, живою человеческою душою.

Итак, автор взял натуру более глубокую, приписал ей более глубокое уклонение от жизни, чем другие писатели, касавшиеся нигилизма. Цель его была — изобразить страдания, которые терпит живой человек, дойдя до такого разрыва с жизнью. Совершенно ясно, что автор изображает своего героя с полным состраданием к нему. Это не смех над молодым поколением, не укоры и обвинения, это — плач над ним. Несчастный убийца-теоретик, этот *честный убийца*, если можно только сопоставить эти два слова, выходит тысячекратно несчастнее простых убийц. Ему было бы несравненно легче, если бы он совершил убийство из гнева, из мщениия, из ревности, из корысти, из каких хотите *житейских побуждений*, но не из теории.

«Знаешь, Соня,— говорит сам Раскольников,— если б только я зарезал из того, что голоден был — то я бы теперь ... *счастлив был!*» (т. II, стр. 219).

С невыразимым мучением он чувствует, что насилие, совершенное им над своею нравственно природою, составляет больший грех, чем самый акт убийства. Оно-то и есть настоящее преступление.

«Разве я старушонку убил? — говорит он Соне.— Я себя убил, а не старушонку. Так-таки разом и ухлопал себя навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я...» (т. II, стр. 228).

В этом заключается смысл романа, и приговор над Раскольниковым, произносимый автором, вложен им в уста Сони.

«— *Что вы, что вы над собой сделали!* — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

— Странная какая ты, Соня,— обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.

— *Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!* — воскликнула она, как в иступлении, не слыжав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике» (т. II, стр. 251).

Итак, в первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий. Свойство *широкой симпатии*, которое мы приписали автору, и здесь, очевидно, воодушевляло его. Он изобразил нам нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестоким страданием. По своему всегдашнему обычаю, он представил нам человека в самом убийце, как умел отыскать *людей* и во всех блудницах, пьяницах⁶ и других жалких лицах, которыми обставил своего героя.

Автор взял нигилизм в самом крайнем своем развитии, в той точке, дальше которой уже почти некуда идти. Но заметим, что сущность каждого явления всегда обнаруживается не в его обыкновенных ходячих формах, а именно в крайних высших ступенях развития. Здесь, очевидно, взявши крайнюю форму, автор получил возможность стать к целому явлению в совершенно правильные отношения, в те отношения, в которые трудно стать к другим формам того же явления. Возьмем, например, Базарова (в «Отцах и детях» Тургенева), первого нигилиста, явившегося в нашей литературе. Этот высокомерный, самолюбивый человек скорее отталкивает, чем привлекает. Да он и не просит нашего сочувствия, он самодоволен. Пусть читатель переберет потом все хорошо знакомые ему формы нигилизма. Молодая девушка обрезает свою великолепную косу и надевает синие очки. Со стороны безобразно, а между тем она очень довольна собою, как будто надела наряд красивее того, который прежде носила. Она бросает романы и читает «Физиологию обыденной жизни» Льюиса. Сначала она запинается, но делает над собою усилие и принимается свободно толковать о пятнах и мочевых органах. Что же? Ощущается новое удовольствие. Пойдем далее — девушка уходит от родителей и совершенно теоретически отдается некоторому юноше, чуждому предрассудков и толкующему ей о необходимости завести на каком-нибудь необитаемом острове новое человечество. Или бывает иначе. Брат девушки сам устраивает ее гражданский брак со своим приятелем. Точно так же на основании теории муж бросает жену, жена мужа и устраивается коммуна, в которой случается, что один мужчина имеет связь с двумя женщинами, красноречиво проповедуя им, что ревность — фальшивое чувство.

И что же? Вся эта ломка самих себя, все это искажение жизни совершается совершенно хладнокровно. Все довольны и счастливы, смотрят на себя с великим уважением и гонят от себя всякие нелепые чувства, мешающие людям идти по пути прогресса. Спрашивается, каким же образом можно отнестись к этим людям? Всего легче смеяться над ними и презирать их. Так как они сами упорно выдают себя за каких-то счастливых, то общество не чувствует в себе никакого позова пожалеть их — скорее оно бывает расположено видеть в этом бесстрастном и холодном коверканье своей и чужой жизни присутствие каких-нибудь темных страстей, например, сластолюбия.

Между тем, в сущности, ведь их следует пожалеть. Ведь нет никакого сомнения, что душа у них все-таки просыпается со своими вечными требованиями. Притом не все же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, в которых эта ломка своей природы, отзовется долгими, неизгладимыми страданиями. И следовательно, ко всем им, ко всей этой сфере кажущихся счастливых, устраивающих свою жизнь на новых основаниях, можно обратиться со словами любящей Сони: *что вы, что вы наг собою сдесли?*

От девушки, из теории обстригающей себе косу, до Раскольникова, из теории убивающего старуху, расстояние велико, но все-таки это явления однородные. Ведь и косы жалко, так как же не пожалеть погубившего себя Раскольникова? Сожаление — вот то отношение, в которое автор стал к нигилизму, — отношение почти новое, а в такой силе, в какой оно здесь является, никем еще не развитое.

Но если так, то как же могло случиться, что автора обвинили в каком-то желании опозорить наше молодое поколение, поголовно обвинить его в покушениях на убийство? Случилось это именно в силу нового отношения к делу, отношения, которого сразу не могли понять. Все привыкли к старому отношению, всем известно, что нигилисты и нигилистки бросают своих родных, теряют своих жен, лишаются своих кос и своей девичьей чести и т. д. не только без горя и печали, но совершенно хладнокровно и даже с гордостью и торжеством. И вот в романе Достоевского многим мерещится точно такое же изображение, то есть как будто некто совершает убийство, считая себя правым и, следовательно, хладнокровно и оставаясь вполне спокойным. Так, вероятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайные убийства. От этого-то такие поджоги и убийства и могли быть весьма часты, могли совершаться множеством людей. Есть ли же что-нибудь подобное в романе г. Достоевского? Вся сущность романа заключается в том, что Раскольников хотя и считает себя правым, но соверша-

ет свое дело не хладнокровно, и не только не остается спокойным, а подвергается жестоким мукам. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступление из теории несравненно тяжелее для преступника, чем всякое другое, что душа человеческая менее всего может выносить подобное уклонение от своих вечных законов. И следовательно, если бы случилось, что нигилист оказался преступником, то всего вернее предполагать, что и он, подобно прочим людям, совершил преступление из мести, ревности, корысти и пр., а не из теории. Одним словом, черта, которую взял г. Достоевский, изображена им вполне верно. Читая роман, вы чувствуете, что преступление Раскольникова есть явление *необычайно редкое*, есть случай в высокой степени характеристический, но исключительный, совершенно выходящий из ряда вон.

Так говорит о нем сам преступник. Он нигде не выдает свою *теорию* за что-нибудь общераспространенное; он постоянно называет ее *своею* теориею, *своею идеею*; в минуты, когда он находится под властью этой идеи, он даже с презрением отзывается о других нигилистах. «О, отрицатели и мудрецы в пяточок серебра, — восклицает он, — зачем вы останавливаетесь на полдороге!» (т. II, стр. 424).

Нужно всегда помнить, что жизнь, натура останавливает нигилистов, как и других людей, не только на *полдороге*, но даже и на *первом шаге* какой-нибудь дороги, да притом, что и дороги у них бывают различные. Это сопротивление жизни, этот ее отпор против власти теорий и фантазий потрясающим образом представлены г. Достоевским. Показать, как в душе человека борется жизнь и теория, показать эту схватку на том случае, где она доходит до высшей степени силы, и показать, что победа осталась за жизнью — такова была задача романа.

То же самое нужно, конечно, отнести и к другим явлениям, ко всем бесчисленным формам столкновения теории с жизнью. Везде жизнь останавливает противное ей движение, везде успешно борется с насилием, которое над нею делают. Есть, например, женщины, усвоившие себе бесцеремонный мужской тон; но их очень немного. Другие, как ни стараются, а все залпнутся, когда заведут речь о регулах или мочевых органах. Казалось бы, чего проще, как то, что называется *гражданским браком*. Между тем этот брак, как и все другие безобразия, составляет лишь исключение. Обыкновенно нигилисты и нигилистки преспокойно венчаются в церквах, подобно другим смертным. Большая свобода в обращении, которую позволили себе молодые люди под влиянием нигилизма, повела, как известно, к заключению множества супружеств, столь же чистых и, может быть, более счастливых,

чем иные браки, в которых нигилизм не принимал никакого участия.

Итак, никакой разумный человек, понимающий, как идут дела в жизни, не поверит в этом случае никаким повальным обвинениям, если бы они и раздавались. Всего же менее можно извлечь повальное обвинение из романа г. Достоевского; это было бы во сто раз нелепее, чем, например, извлечь из «Отелло» Шекспира, что все ревнивые мужья убивают своих жен, или из «Моцарта и Сальери» Пушкина, что все завистники отравляют своих даровитых приятелей.

Докажем теперь выписками из романа, что наша постановка дела совершенно правильна. Что Раскольников не сумасшедший, это даже странно доказывать. В самом романе лица, близкие к Раскольникову, видя его мучения и не понимая источников того странного поведения, к которому его приводят внутренние терзания, начинают подозревать, не сходит ли он с ума. Но потом загадка разрешается. Открывается дело *несравненно менее вероятное*, именно, что он не сумасшедший, а преступник.

Роман написан объективною манерою, при которой автор не говорит в отвлеченных выражениях об уме, характере своих героев, а прямо заставляет их действовать, мыслить и чувствовать. Раскольникова же, как главное действующее лицо, автор в особенности почти ни в чем не характеризует от себя; но везде Раскольников является человеком с задатками ясного ума, твердого характера, благородного сердца. Таков он во всех других поступках, кроме своего преступления. Так на него смотрят и остальные действующие лица, над которыми, по своим возможностям, он очевидно возвышается. Вот как отзывается о Раскольникове следователь Порфирий, отзывается ему в глаза:

«Понимаю я, каково все это перетащить на себе человеку удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому! Я вас, во всяком случае, за человека наибогороднейшего почитаю-с и даже с зачатками великодушия-с...» (т. II, стр. 276).

Даже само страшное дело, совершенное Раскольниковым, для людей, коротко его узнавших, указывает на силу души, хотя извращенную и заблудшуюся.

«Вышло-то подло, это правда,— продолжает тот же Порфирий,— да вы-то все-таки не безнадёжный подлец! Совсем не такой подлец! По крайней мере долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел. Я ведь вас за кого почитаю. Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей — если то-

лько веру или Бога найдет. Ну, и найдите, и будете жить» (т. II, стр. 291).

Автор, очевидно, хотел представить крепкую душу, человека, исполненного жизни, а не слабосильного и помешанного. Тайна авторских желаний в особенности ясно открывается в словах, вложенных им в уста Свидригайлова. Свидригайлов объясняет сестре Раскольникова поступок ее брата и говорит:

«Теперь *все помутилось*, то есть оно и никогда в порядке-то особенном не было. *Русские люди* вообще *широкие люди*, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда *быть широким без особенной гениальности*. А помните, как много мы в этом же роде и на эту же тему переговорили с вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина? Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он здесь лежал да свое обдумывал. У нас в образованном обществе особенно священных преданий *ведь нет*, Авдотья Романовна: разве кто как-нибудь себе по книгам составит... али из летописей что-нибудь выведет. Но ведь это больше ученые и, знаете, в своем роде колпаки, так что даже и неприлично светскому человеку» (т. II, стр. 343).

Здесь открывается вся дальность замыслов автора. Он хотел изобразить широкую русскую натуру, то есть натуру живучую, мало склонную идти по пробитым, торным колеям жизни, способную жить и чувствовать на разные лады. Такую натуру, живую и вместе неопределенную, автор окружил средою, в которой все помутилось, в которой особенно священных преданий давно уже не существует. Сам Свидригайлов, высказывающий это повальное обвинение против нашего образованного общества (вот оно, то обвинение, которого так искали), представляет нечто вроде старого поколения тех же натур и того же общества, в параллель Раскольникову, члену нового поколения. Несмотря на фантастичность Свидригайлова, в нем все-таки возможно рассмотреть очень знакомые черты еще недалеко ушедшего от нас состояния нашего образованного и зажиточного сословия. Разврат, жестокость с крепостными, доходящая до смертоубийств, тайные злодеяния и отсутствие всего святого в душе — в эту сторону тоже бросались широкие русские натуры, чтобы на что-нибудь тратить свои силы. Раскольников есть тоже человек, которому очень хочется жить, которому поскорее нужен выход, нужно дело. Такие люди не могут оставаться в бездействии; жажда жизни, *какой бы то ни было*, но только сейчас, поскорее, доводит их до нелепостей, до ломки своей души и даже до полной гибели.

В газетах писали, будто бы Раскольников совершает свое убийство из филантропических целей, что он оправдывает его благотворительными намерениями. Но дело вовсе не так просто. Главный корень, из которого выросло чудовищное намерение Раскольникова, заключается в некоторой теории, которую он неоднократно и последовательно развивает; самое же убийство произошло из неперменного желания *приложить к делу* свою теорию. Вот как характеризует поступок Раскольникова следователь Порфирий:

«Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда *помутилось сердце человеческое*; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут *теоретически раздраженное сердце*; тут видна *решимость на первый шаг*, но решимость особого рода — решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно *не своими ногами пришел*. Дверь за собой забыл притворить, а убил, двух убил, по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес». «Убил, да за честного человека себя почитает, *людей презирает*, бледным ангелом ходит» (т. II, стр. 285).

В чем же заключается та *теория*, которая так увлекла и замучила этого юношу? В романе она во многих местах излагается подробно и отчетливо; это очень ясная и логически-связная теория. Притом она не поражает чем-либо странным; это не логика сумасшедшего; напротив, по замечанию Разумихина, «это не ново и *похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали*» (т. I, стр. 409).

Эту теорию, как нам кажется, можно свести на три главные точки. *Первая* состоит в очень гордом, презрительном взгляде на людей, основанном на сознании своего умственного превосходства. Раскольников был очень горд в этом отношении. «Иным товарищам его, — говорит автор, — казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит, как на что-то низшее» (т. I, стр. 78).

Из этой гордости рождается презрительный, высокомерный взгляд на людей, как бы отрицание у них прав на человеческое достоинство. Старуха процентщица, для Раскольникова, есть *вошь*, а не человек. Уже долго спустя после преступления, уже тогда, когда он решился донести на себя и вышел с этой целью на улицу, он еще раз испытывает порыв гордости и так выражает свое понимание людей. «Вот они, — говорит он, — снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; *хуже того — идиот*» (т. II, стр. 388).

Второй пункт теории заключается в известном взгляде на ход человеческих дел, на историю; взгляд этот прямо вытекает из презрительного взгляда на людей вообще.

«Я все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы, и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, что если ждат, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труд не стоит терять! Да, это так! Это их закон!... И теперь я знаю, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось, и так всегда будет! Только слепой не разглядит!»

«— Я догадался тогда,— продолжал он восторженно,— что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто за просто все за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел осмелиться» (т. II, стр. 225).

Читатели, конечно, хорошо знают эти отрицания правды и смысла в истории, тот взгляд на исторические явления, по которому все они происходили от насилия, опиравшегося на заблуждения. Этот взгляд, взгляд просвещенного деспотизма, породил на западе Европы огромные революции и до сих пор порождает там людей, которые разрешают себе все средства, чтобы изменить ход всемирной истории, которые считают себя вправе домогаться места законодателей и учредителей нового, разумного порядка вещей. Эти люди уже не живут под каким-нибудь авторитетом, потому что сами поставляют себя авторитетом для человечества. Они, подобно Раскольникову, желали бы, если бы могли, «взять все за хвост и стряхнуть к черту». Но эти люди действуют, считая своею целью благо человечества, и они имеют дело с историею народов. Поэтому, с одной стороны, их усилия получают характер бескорыстия, самоотвержения, с другой стороны, их деятельность никогда не бывает удачною. История их не слушается и идет своим порядком. Глупые народы не понимают того блага, которое им предлагают умные люди.

Под влиянием эгоизма молодости Раскольников сделал еще один шаг на пути этих мнений. Этот-то шаг и составляет ту мысль,

которая, по его словам, *выдумалась у него одного и которой никто никогда еще не выдумывал*. Таким образом он дошел до третьего и последнего пункта своей теории. Приведем место, где всего ярче высказывается эта мысль. Раскольников смеется про себя над социалистами:

«За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торговый: *общим счастьем* занимаются... Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет; я не хочу дожидаться *всеобщего счастья*. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что же? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании «*всеобщего счастья*». «Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца». «Нельзя-с! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я тоже хочу...» (т. I, стр. 426).

И вот Раскольников решился нарушить обыкновенный ход дел и позволить себе всякие средства не для того, чтобы изменить ход всемирной истории, а для изменения своей личной судьбы и судьбы своих близких. Чего он хотел в этом отношении, он подробно объясняет Соне.

«У матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание, случайно, и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с тысячью рублями жалованья... (Он говорил *как будто заученное*.) А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенести? Для чего? Для того ли, чтобы их схоронив, новых нажить — жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну... вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги между университетом, — и сделать это широко, радикально, так, чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать...» (т. II, стр. 222).

Таковы цели, которые имел в виду Раскольников. Но эти цели не составляли прямых побуждений к преступлению. Они могли внушить Раскольникову самые разнообразные усилия; непременно

ное убийство никак логически из них не вытекает. Напротив, оно строго вытекает из его эгоистической теории. Вот почему тотчас после приведенной речи сам Раскольников начинает говорить, что «это не то», что он «врет, давно уже врет» и пр. Очевидно главное, что его двигало, что распаляло его воображение, было требование приложить свою теорию, *осуществить на деле то, что позволил себе в мысли.*

В другом месте он ясно высказывает это главное побуждение к преступлению.

«Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха пожалуй что и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... я *переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил!*» (т. I, стр. 426).

Вот самая суть преступления. Это *убийство принципа*. Не три тысячи рублей тянули Раскольникова; странно сказать, между тем верно — что если бы эти деньги могли достаться ему через воровство, плутовство в карты или другое мелочное мошенничество, он едва ли бы на него решился. Его тянуло убить принцип, позволить себе то, что наиболее запрещено. Теоретик не знал, что, убивая принцип, он вместе с тем покушается на самую жизнь своей души; но, убивши, он по страшным мукам своим понял, *какое* преступление он совершил.

Вот задачи, предложенные себе автором. Задачи огромные, имеющие несравненную важность. Глубочайшее извращение нравственного понимания и затем возвращение души к истинно человеческим чувствам и понятиям — вот общая тема, на которую написан роман г. Достоевского. В следующей статье мы постараемся рассмотреть, как автор справился со своею задачею. Теперь же заметим лишь то, что и без нас, конечно, угадывает читатель, именно, что г. Достоевский в таких размерах захватил свой предмет и такие стороны его изобразил особенно искусно, которые были наиболее по его силам и где, следовательно, всего ярче могла проявиться глубина и особенность его таланта.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского.
Издание исправленное. Два тома.
Петербург. 1867

Статья вторая и последняя

Раскольников не есть тип. То есть он не настолько своеобразен, не представляет таких определенных и органически связанных между собою черт, чтобы его образ носился перед нами, как живое лицо. В частности же — это не есть тип нигилистический, но видоизменение того типа настоящего нигилиста, который всем более или менее знаком и который всех раньше и всех метче был угадан Тургеневым в его *Базарове*.

Что же? Мешает это роману? Те, кто читал роман, мы думаем, согласятся с нами, что отсутствие большей типичности здесь не вредит, а даже как будто способствует делу. Неопределенность, *молодая* неопределенность и неустановленность Раскольникова очень идет к его *фантастическому* (по словам Порфирия) поступку. Кроме того, невольно чувствуется, что Базаров никаким образом не совершил бы *так и такого* дела. Человек, следовательно, выбран г. Достоевским нельзя сказать, чтобы не верно.

Но главное, очевидно, здесь не в человеке, не в обрисовке известного типа. Не здесь центр тяжести романа. Цель романа состоит не в том, чтобы вывести перед глазами читателей какой-нибудь новый тип, изобразить нам «бедных» людей, «подпольного» человека, людей «мертвого дома», «отцов и детей» и т. д. Весь роман сосредоточивается около одного поступка, около того, как родилось и совершилось некоторое *действие* и какие повлекло за собою последствия в душе совершившего. Так роман и называется; на нем надписано не имя человека, а название события, с ним случившегося. Предмет обозначен вполне ясно: дело идет о *преступлении и наказании*.

И в этом отношении всякий согласится, что роман г. Достоевского очень типичен. Удивительно типично изображены все те процессы, которые совершаются в душе преступника; вот что составляет главную тему романа и что поражает в нем читателей. Живо и глубоко схвачено в нем то, как идея преступления зарождается и укрепляется в человеке, как борется с нею душа, инстинктивно чувствуя ужас этой идеи; как человек, вскормивший в себе злую мысль, почти лишается, наконец, воли и разума и слепо повинует ей; как он *механически* совершает преступление, дол-

го созревшее в нем органически; как пробуждается в нем потом боязнь, подозрительность, злоба к людям, от которых ему грозит кара; как начинает он чувствовать омерзение к себе и к своему делу; как прикосновение живой и теплой жизни пробуждает в нем муки бессознательного раскаяния; как, наконец, ожесточенная душа не выдерживает и размягчается до чувства умиления.

Перед этим страшным процессом личность Раскольникова с ее особенностями совершенно сглаживается и исчезает. Сперва поглотила его извращенная идея, а потом в нем с неодолимою силою просыпается человек, человеческая душа и мучит его своим пробуждением, с которым он старается совладать. При таких явлениях индивидуальность действующего лица, естественно, должна отступить на задний план. Так следует это из самого смысла романа. Преступление вовсе не есть действие, характеристическое для личности Раскольникова; люди, в характеристику которых входит преступление, совершают дела этого рода гораздо легче и совершенно иначе. Раскольникову же просто довелось перенести на себе преступление; можно сказать, что оно с ним случилось и душа его отзывалась на него так, как отзывалась бы, вообще говоря, душа всякого человека.

Итак, понятно, что личность Раскольникова подавлена самым событием и не представляет ясного типического образа. В этом отношении самая тема автора ставила его в выгодное положение, именно давала ему возможность высказать всю силу таланта, несмотря на недостаток полной типичности. Гораздо правильнее мы можем требовать более ясной типичности от остальных лиц романа. Их очень много, и они выполнены очень не равномерно. Наиболее удавшимися и даже вполне удачными следует признать пьяницу Мармеладова и его жену Катерину Ивановну. Это действительные типы, ярко, отчетливо очерченные. В них ясно выразились главные достоинства таланта г. Достоевского. Он открыл читателям, как возможно относиться симпатически к этим людям, таким слабым, смешным, жалким, потерявшим всю силу владеть собою и походить на других людей.

Но главная сила автора, как мы уже заметили, не в типах, а в изображении положений, в уменье глубоко схватывать отдельные движения и потрясения человеческой души. В этом отношении он достиг во многих местах своего нового романа до полного и удивительного мастерства.

Роман задуман и расположен очень просто, но вместе правильно и строго. Три года Раскольников живет в Петербурге, один, оторванный от своей семьи и терпящий большую нужду. Эти три года были, конечно, временем, когда молодой ум стал впервые ра-

ботать над пониманием жизни, и работал с увлечением и односторонностью молодости. Роман открывается, когда идея преступления вполне созрела. Раскольников уже давно удалился от своих товарищей и был совершенно одинок. «С некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию» (т. I, стр. 2) и «бежал всякого общества (т. I, стр. 14).

Впоследствии Раскольников прекрасно описывает свое состояние в это время. Он указывает даже на те свои склонности, в которых злая мысль находила себе пищу, которые он разрабатывал в свою пользу.

«Предположи, — так говорит он Соне, — что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен». «Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог. Мать прислала бы, чтобы внести что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили, по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово хорошее!). Я тогда как паук к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья — поем, не принесет — так и день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродал; а на столе у меня, на записках да на тетрадах на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал...» (т. II, стр. 224).

Самолюбие и то озлобление, которое от него происходит, вот те черты Раскольникова, на которые оперлась идея преступления. Прекрасно изображен процесс, обыкновенно происходящий в душе преступника: человек раздражает, натравливает себя на страшное дело, старается увлечься до самозабвения. Роман открывается в минуту полного развития этого процесса. Раскольников идет к процентщице, чтобы сделать пробу.

Но природа в нем возмущается, и им овладевает чувство бесконечного отвращения (т. I, стр. 12). Его вдруг что-то тянет к людям (стр.14), и он сходится с Мармеладовым, провожает его домой и видит его семейство. Эта картина возбуждает в нем опять прилив злости, и недобрая мысль опять воскресает (стр.40). Получается письмо от матери с дурными вестями: сестра жертвует собой для блага матери и брата. Озлобление Раскольникова достигает

высшей степени. Превосходно изображено волнение и внутренняя борьба, которую испытывает Раскольников вследствие письма матери. Мучительно разбирает он всю безвыходность своего положения, все бессилие свое поправить дело.

«Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно проснется, и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад и даже вчера еще она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это... Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах».

Раскольников уже не владеет собой; мысль его одолела. Встреча с девушкой, которая только что увлечена на путь порока, еще глубже вонзает ему в сердце сожаление о сестре. Инстинктивно стараясь уйти от своей злой мысли, он направляется к Разумихину. Но он не понимает себя и, опомнившись, решает: «К Разумихину я на другой день после того пойду, когда уже то будет конечно и когда все по-новому пойдет...» (стр. 81).

Но еще раз, в последний раз со всею силою пробуждается в нем душа. Он уходит куда-нибудь дальше от того дома, где «в углу, в этом ужасном шкафу и созревало все это». На дороге он засыпает на скамейке парка⁷ и видит томительный сон, в котором выражается протест души против задуманного дела. Он видит себя мальчиком, надрывающимся от жалости при виде бесчеловечно убиваемой лошади. Проснувшись, подавленный впечатлениями сна, он, наконец, ясно чувствует, как противится его природа замышляемому им преступлению. «Я не вытерплю, не вытерплю!» — повторяет он.

«Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей!» (стр. 92).

Рассказывать дальше — почти невозможно. Раскольников, измученный и истомленный своею внутреннею борьбою, наконец подчиняется мысли, которую так давно растил в душе своей. Описание преступления удивительно, и его невозможно передавать другими словами. Слепо, механически выполнет Раскольников давно окрепший замысел. Душа его замерла, и он действует как во сне. У него почти нет ни соображения, ни памяти; его действия

бессвязны и случайны. В нем как будто исчезло все человеческое, и только какая-то звериная хитрость, звериный инстинкт самосохранения дали ему докончить дело и спастись от поимки. Душа его умирала, а зверь был жив.

После совершения преступления для Раскольникова начинается двоякий ряд мучений. Во-первых, мучения страха. Несмотря на то, что все концы спрятаны, подозрительность не оставляет его ни на минуту, и малейший повод к опасению нагоняет на него мучительный страх. Второй ряд мучений заключается в тех чувствах, которые испытывает убийца при сближении с другими людьми, с лицами, у которых нет ничего на душе, которые полны теплотою и жизнью. Сближение это происходит двояким образом. Во-первых, самого преступника тянет к живым людям, потому что ему хотелось бы стать с ними наравне, отбросить ту преграду, которую он сам положил между ними и собою. Вот отчего Раскольников отправляется к Разумихину. «Сказал я (думает он про себя) третьего дня... что к нему после того на другой день пойду, ну что ж, и пойду! Будто уж я не могу теперь зайти...» По этой же причине он так усердно начинает хлопотать о раздавленном Мармеладове и сближается с его осиротевшим семейством, особенно с Сонею.

Второе обстоятельство, по которому Раскольников очутился среди людей живых и имеющих близкие к нему отношения, заключается в приезде его семейства в Петербург. То письмо, которое было последним толчком к убийству, содержало в себе известие, что мать и сестра Раскольникова должны явиться в Петербург, где сестра и пожертвует собою, вышедши за Лужина.

Таким образом, Раскольников, бывший до тех пор одиноким и удалявшимся от людей, теперь и волею и неволею окружен людьми, с которыми связан всего ближе. Читатель чувствует, что если бы эти люди были около Раскольникова прежде, то он никогда бы не совершил преступления. Теперь же, когда преступление совершено, эти люди дают повод к пробуждению в душе преступника всевозможных мук, вызываемых прикосновением жизни к душе, извратившей себя и коснеющей в своем извращении.

Таково весьма простое, но вместе очень правильное и искусное построение романа.

Очень правильно также развита известная постепенность в душевных страданиях преступника. Сперва Раскольников совершенно подавлен случившимся и даже заболевает. Первая его попытка сойтись с живыми людьми, свидание с Разумихиным, просто ошеломляет его. «Подымаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Те-

перь же, в одно мгновение, догадался он уже на опыте, что менее всего расположен в эту минуту сходитья лицом к лицу с кем бы то ни было на свете» (т. I, стр. 173). Он уходит не владея собою. Точно так первые муки от боязни подавляют его. Они разрешаются страшным, томительным сновидением (удивительные две страницы, 178—179), после которого Раскольников заболевает.

Мало-помалу, однако же, преступник становится крепче. Он сходитя с Разумихиным, хитрит с Заметовым, принимает деятельное участие в судьбе семейства Мармеладовых, в судьбе своей сестры, увертывается от хитрого следователя Порфирия, открывает свою тайну Соне и пр. Но, по мере того как преступник овладевает собою, страдание его не ослабевает, а становится только постоянное и определеннее. Сначала он еще чувствует порывы радости, когда страх, нагнанный какою-нибудь случайностию, отлегаает вдруг от сердца или когда ему удастся сблизиться с другими людьми и почувствовать себя все еще человеком. Но потом эти колебания исчезают.

«Какая-то особенная тоска,— рассказывает автор,— начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства» (т. II, стр. 239).

Вот те мотивы, на которые написана самая большая, центральная часть романа. Можно заметить,— хотя, право, в подобных вещах трудно полагаться на собственное суждение и лучше довериться проницательности художника,— что в душе Раскольникова, сверх страха и боли, должна была занимать большое место третья тема — воспоминание о преступлении.

Воображение и память преступника, казалось бы, должны чаще обращаться к картине страшного дела. Чтобы пояснить свою мысль, припомним превосходное описание преступления в романе Диккенса «Наш общий друг». Учитель Брэдлей Гедстон убивает Евгения Рейборна. Состояние убийцы тотчас после преступления и избавления от опасности описывается так:

«Он находился в том состоянии духа, которое тяжелее и мучительнее угрызений совести. В нем угрызений совести не было; но злодей, который может отстранить от себя этого мстителя, не в состоянии избежать более медленной пытки, состоящей в беспрерывной переделке своего злодеяния, в переделке его все с большим и большим успехом. В оправдательных показаниях и в притворных сознаниях убийц карающую тень этой пытки можно проследить в каждой говоримой лжи. Если бы я сделал это, как

показывают, можно ли вообразить, чтоб я сделал такую-то ошибку. Если бы я сделал это, как показывают, неужели я оставил бы не замкнутою эту лазейку, которую ложный и злонамеренный свидетель так бесчестно выставляет против меня. Состояние злодея, беспрерывно открывающего слабые места в своем преступлении, старающегося укрепить их, когда сделанного дела уже нельзя изменить, есть такое состояние, которое усиливает тяжесть преступления тем, что заставляет совершать его тысячу раз вместо одного; но это в то же время и такое состояние, которое в натурах злобных и нераскаянных карает преступление самым тяжким наказанием».

«Брадлей спешил вперед, тяжело прикованный к идее своей ненависти и своего мщения, и все думал, что он мог бы удовлетворить то и другое многими способами, гораздо более успешными в сравнении с тем, что он сделал. Орудие могло быть лучше, место и час могли быть лучше выбраны. Ударить человека сзади в темноте, на окраине реки — дело довольно ловкое; но следовало бы тотчас же лишить его возможности защищаться; а вместо того, он успел обернуться и схватить своего противника, и потому, чтобы покончить с ним прежде, чем явилась какая-нибудь случайная помощь, пришлось отделаться от него, поспешно столкнуть его в реку, прежде чем жизнь была окончательно выбита из него. Если бы можно было опять это сделать, то следовало бы сделать не так. Предполагается, что его голову нужно бы подержать несколько времени под водой. Предполагается, что первый удар должен быть вернее; предполагается, что его следует застрелить; предполагается, что его следует задушить. Предполагайте что угодно, только не предполагайте оторваться от этой идеи; это оказалось бы неумолимой невозможностью».

«Учение в школе началось на следующий день. Ученики видели небольшую перемену, или совсем не видали таковой, на лице своего учителя, потому что оно всегда носило на себе медленно изменяющееся выражение. Но в то время, как он прослушивал урок, он все переделывал свое дело, и все переделывал его лучше. Становясь с куском мела у черной доски, он, прежде чем принимался писать на ней, задумывался о месте на берегу, и о том, не была ли вода глубже, и не могло ли падение совершиться прямее, где-нибудь выше или ниже на реке. Он был готов провести черту или две на доске, чтобы выяснить себе то, о чем думал. Он переделывал дело сызнова, все улучшая переделку — во время классных молитв, во время вопросов, задаваемых ученикам, и в течение всего дня» (кн. четвертая, гл. VII).

Казалось бы, нечто подобное должно совершаться и с Раскольниковым. Между тем Раскольников только два раза возвращается воображением к своему преступлению. Нужно при этом отдать справедливость автору, что оба воспоминания изображены с удивительной силою. В первый раз Раскольников по невольному влечению приходит сам на место преступления (т. I, стр. 265—268). Во второй раз после того, как мещанин назвал его на улице убийцем, он видит сон, в котором вторично убивает свою жертву (т. I, стр. 428—431). Этот сон и также два прежних сна, которые мы приводили, составляют едва ли не лучшие страницы романа. Фантастичность, свойственная сновидениям, схвачена с изумительной яркостью и верностию. Странная, но глубокая связь с действительностию уловлена во всей ее странности. С этими снами невозможно и сравнивать последнего сна, который Раскольников видит в каторге (т. II, стр. 429, 430) и который есть явное сочинение, холодная аллегория.

Итак, центральная часть романа главным образом занята изображением припадков страха и той душевной боли, в которой называется пробуждение совести. По своему всегдашнему приему автор написал множество вариаций на эти темы. Одно за другим он описывает нам всевозможные изменения одних и тех же чувств. Это сообщает монотонность всему роману, хотя не лишает его занимательности. Но роман томит и мучает читателя, вместо того чтобы поражать его. Поразительные моменты, которые переживает Раскольников, теряются среди его постоянных мучений, то ослабевающих, то снова поражающих. Нельзя сказать, чтобы это было неверно; но можно заметить, что это неясно. Рассказ не сосредоточен около известных точек, которые бы вдруг озаряли для читателя всю глубину душевного состояния Раскольникова.

Между тем многие из таких точек схвачены в романе, много в нем сцен, где состояние души Раскольникова обнажается с большою яркостью. Мы не станем останавливаться на сценах боязни, на этих припадках звериного страха и звериной хитрости (как выражается сам автор, см. т. I, стр. 189). Для нас, разумеется, гораздо интереснее другая, положительная сторона дела, именно та, где душа преступника пробуждается и протестует против совершенного над нею насилия. Своим преступлением Раскольников оторвал себя от живых и здоровых людей. Каждое прикосновение к жизни мучительно отзывается в нем. Мы видели, как он не мог видеть Разумихина. Впоследствии, когда добрый Разумихин стал заботиться и хлопотать о нем, присутствие этого добродушного человека раздражает Раскольникова до исступления (т. I, стр. 259).

Но как рад Раскольников сам заботиться о других, как рад случаю примкнуть к чужой жизни по поводу смерти Мармеладова! Очень хороша сцена между убийцею и маленькою девочкою Полею.

«Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось».

«— Послушайте, как вас зовут... а еще: где вы живете,— спросила она торопясь, задыхающимся голоском».

«Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть — он сам не знал почему» (т. I, стр. 290).

Разговор кончается очень глубокою чертою. Поличка рассказывает, как она молится вместе с своею матерью, с меньшою сестрою и братом; Раскольников просит ее молиться и за него.

После этого прилива жизни Раскольников сам идет к Разумихину, но скоро теряет минутную бодрость и самоуверенность. Затем следует новый удар: приезд матери и сестры.

«Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему. Но он стоял как мертвый: невыносимое внезапное сознание ударило в него как громом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали... Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке» (т. I, стр.299).

Каждый раз присутствие родных и разговор с ними составляют пытку для преступника. Когда мать объясняет ему, как она рада его видеть, он перебивает ее:

«— Полноте, маменька,— со смущением пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее руку,— успеем наговориться!»

«Сказав это, он вдруг смутился и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его: опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше, никогда и ни с кем нельзя ему теперь говорить. Впечатление этой мучительной боли было так сильно, что он на мгновение почти совсем забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты» (т. I, стр. 355).

По естественной реакции, эти муки вызывают в нем ненависть к тем, кто их вызывает собою.

«Мать, сестра,— думает про себя Раскольников,— как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу. Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить...» (т. I, стр. 428).

Очень замечательно следующее место среди несвязных мыслей полубредящего Раскольникова:

«Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!.. Странно однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал... Лизавета! Соня! бедные, кроткие, с глазами кроткими... Милые! Зачем они не плачут. Зачем не стонут. Они все отдают... глядят кротоко и тихо... Соня, Соня! тихая Соня!..» (там же).

Затем Раскольников увлекается в борьбу с Лужиным и Свидригайловым. Но мысль как-нибудь опять вступить в живые отношения к людям продолжает мучить его. Он идет к Соне, с тем чтобы открыть ей свою тайну. Из разговора с нею он видит всю ее кротость, незлобие, нежную сострадательность. На него находит минута умиления.

«Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу» (т. II, стр. 76).

Он откладывает, однако же, признание до другого раза. Наступает новая борьба с Порфирием и с Лужиным, и Раскольников опять набирается бодрости. Он идет к Соне признаваться уже как будто с надеждой убедить ее в своей правдивости; но его замыслы разлетаются в прах перед соприкосновением с живым лицом.

Сцена сознания есть лучшая и центральная сцена всего романа (т. II, 207—222). Раскольников терпит глубокое потрясение. «Он совсем, совсем не так предполагал объявить, и сам не понимал того, что с ним делалось» (стр. 212).

Когда наконец признание сделано, оно вызывает в Соне те слова и действия, в которых содержится приговор Раскольникову, приговор гуманнейший, как того требует самая натура Сони.

«Вдруг точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.

— Что вы, что вы это над собой сделали! — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее:

— Странная какая ты, Соня — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.

— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! — воскликнула она, как в исступлении, не слыжав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.

Давно уже незнакомое чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.

— Так не оставишь меня, Соня, — говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее.

— Нет, нет; никогда и нигде! — воскликнула Соня».

Здесь человек вполне сказался в Раскольникове. Он не сознает еще, но уже чувствует, что несчастнее его нет никого на свете и что он сам виноват в своем несчастии.

«Соня, у меня сердце злое», — говорит он через несколько минут.

Наконец, муки его достигают крайнего предела. Тогда он, гордый, высокоумный Раскольников, обращается к бедной девочке за советом.

«— Ну, что теперь делать, говори! — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.

— Что делать! — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем вслух: «я убил!» Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огненным взглядом».

Как видно, бедная Соня очень хорошо знает, что нужно делать. Но Раскольников все еще противится и старается побороть свое мучение. Он решается исполнить совет Сони только тогда, когда ловкий Порфирий довел его до того, что мог сказать ему в глаза: «Как, кто убил... — да вы убили, Родион Романыч!» — и потом дал тот же совет, как и Соня.

Решившись наконец выдать себя, он прощается с матерью, которая только догадывается о том, в чем дело, и сестрою, которая все знает. Эти сцены, как нам показалось, слабее других. А главное, они не рождают в душе Раскольникова никакого нового чувства. Гораздо более значения и силы имеет одна из последних минут перед формальным сознанием Раскольникова. Он уже шел в контору через Сенную.

«Когда он дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение — одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслию.

Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух: «я убийца!» «Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему подступило: загорелось в душе одной искрой, и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в ней размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю...»

«Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз».

Тотчас после этого он предал себя.

Вот и весь душевный процесс Раскольниковов. Мы не говорим о том воскресении, которое описано в эпилоге. Оно рассказано в слишком общих чертах, и сам автор говорит, что оно относится не к этой истории, а к новой, к истории обновления и перерождения человека.

Итак, Раскольников до конца не мог понять и осмыслить движений, подымавшихся в его душе и составлявших для него такую муку. Он не мог понять и осмыслить и того наслаждения и счастья, которые почувствовал, когда вздумал последовать совету Сони. «Он был скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток» — так говорит сам автор о своем герое (т. II, стр. 73). Ожесточение не давало Раскольникову понимать того голоса, который так громко говорил в его душе.

Теперь будет ясно, если мы скажем, что автором выполнена только одна из двух сторон, представляемых задачей. В самом деле, в чем главный интерес романа? Чего ждет постоянно читатель с той минуты, как совершено преступление? Он ждет внутреннего переворота в Раскольникове, ждет пробуждения в нем истинно человеческого образа чувств и мыслей. Тот принцип, который Раскольников хотел убить в себе самом, должен воскреснуть в его душе и заговорить еще с большею силою, чем прежде.

Но автор так поставил дело, что для него эта вторая сторона задачи оказалась слишком большою и трудною, чтобы браться за нее в этом же самом произведении. Тут заключается и недостаток, и вместе достоинство романа г. Достоевского. Он задался так широко, его Раскольников так ожесточен в своей отвлеченности, что обновление этой падшей души не могло совершиться легко и представило бы нам, вероятно, возникновение душевной красоты и гармонии очень высокого строя.

Раскольников есть истинно русский человек именно в том, что дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум. Эта черта русских людей, черта чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которою они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед. Мы любим отдаваться целно, без уступок, без остановок на поддороге; мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а потому и не терпим мировых сделок между своею мыслью и действительностью. Можно надеяться, что это драгоценное, великое свойство русской души когда-нибудь проявится в истинно прекрасных делах и характерах. Теперь же, при нравственной смуте, господствующей в одних частях нашего общества, при пустоте, господствующей в других, наше свойство доходит во всем до краю — так или иначе — портит жизнь и даже губит людей.

Одно из самых печальных и характеристических явлений такой гибели и хотел изобразить нам художник.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Впервые опубликовано: «Отечественные записки». 1867. № 3, 4.
Печатается по тексту первой публикации.

Общую оценку художественного таланта Достоевского Страхов дал еще в заметках, посвященных двухтомному собранию сочинений писателя (изд. Стелловского, 1865—1866 гг.) и опубликованному в «Русском вестнике» (1866) «Преступлению и наказанию». Страхов подчеркнул у Достоевского «способность к очень широкой симпатии, умение симпатизировать жизни в очень низменных ее проявлениях, пронизательность, способную открывать истинно человеческие движения в душах искаженных и подавленных, по-видимому, до конца» (Отечественные записки. 1867. № 2. С. 551), а также умение изображать «все виды страданий, порождаемых нравственной неустойчивостью» (там же. С. 556).

¹ *Один «критик»...* — Г. З. Елисеев, сотрудник «Современника». В заметке «Еще несколько слов о новом романе г. Ф. Достоевского» он относил писателя к эллигонам натуральной школы. Критик усмотрел в романе мотивирование преступления «научными убеждениями» и попытку распространить «эти убеждения на целую студенческую корпорацию» и писал по этому поводу: «Кому оказывается этим услуга, если не обскурантам, которые в распространении света видят причину всякого зла в мире? Какое впечатление и влияние может иметь подобное изображение на читающую публику, которая привыкла видеть в науке основание и залог всего лучшего для своего будущего?» (Современник. 1866. № 3. С. 39). Главной темой романа, по мнению рецензента, оказался «процесс чистого, голого убийства с грабежом». и этот прием не мог быть оправдан никакими эстетическими целями, а потому все произведение Елисеев счел лишенным истинной художественности и получившим сугубо реакционную идейную направленность.

² «... явился другой „критик“...» — А. И-н в газете «Русский инвалид». Под этим псевдонимом А. С. Суворин, близкий тогда к демократическим крутам, писал: «Раскольников вовсе не тип»; «... причины, побудившие Раскольникова на преступление <...> чисто индивидуального свойства, а вовсе не из тех, которые носят-

ся в воздухе»; «Раскольников как явление чисто болезненное подлежит скорее психиатрии, чем литературной критике» (Русский инвалид. 1867. № 63).

³ «... как выразился один критик в начале прошлого года». — Г. З. Елисеев (См. примечание 1 к данной статье).

⁴ Видимо, имеется в виду герой гоголевских «Записок сумасшедшего» Поприщин, объявивший себя испанским королем Фердинандом VIII.

⁵ В повести В. П. Авенариуса «Поветрие» (Всемирный труд. 1867. № 2—3) в качестве такого нигилиста изображен студент Чекмарев.

⁶ Это суждение Страхова прямо предвосхищает известную формулу самого Достоевского: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу...» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 373).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. СТАТЬЯ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

⁷ В романе Раскольников, оказавшийся на Петровском острове, заснул прямо на траве в кустах.